

Поэзия и политика

Бродский любил говорить, что у поэзии и политики общего только начальные буквы «п» и «о». Он действительно был аполитичным поэтом по сравнению с Евгением Евтушенко и другими мастерами эзоповского намека или такими поэтами предыдущего поколения, как Борис Слуцкий или Наум Коржавин. Аполитичность его проявлялась не в том, что он избегал острых политических сюжетов, а в том, что он отказывался рассматривать их иначе, нежели *sub specie aeternitatis*. Проявления добра и зла в общественной жизни – для него только частные случаи манихейского конфликта, заложенного в природу человека. Очень показательны в этом плане, как переосмысливает Бродский классический образ зла, заимствованный у Одена. Речь идет о знаменитом месте в стихотворении Одена «Щит

309 О принципиальной несводимости «философии Бродского» в систему см. *Ранчин 1993*.

310 *Интервью 2000*. С. 29.

311 В многочисленной литературе о Бродском встречаются лишь поверхностные высказывания о его политической философии и политической деятельности, хотя он был политически довольно активен в зарубежные годы. Напротив, его религиозно-философским взглядам посвящены основательные труды, в том числе *Келебай 2000*, *Плеханова 2001*, *Радышевский 1997*.

Ахилла»:

A ragged urchin, aimless and alone,
Loitered about that vacancy; a bird
Flew up to safety from his well-aimed stone:
That girls are raped, that two boys knife a third
Were axioms to him, who'd never heard
Of any world where promises were kept
Or one could weep because another wept.

(Оборванный уличный мальчишка, один, бесцельно / Слонялся по этому пустырю; птица / Взлетела, спасаясь от его хорошо нацеленного камня. / Что девчонок насилюют, что два парня могут прирезать третьего / Было аксиомами для него, который никогда не слышал / Ни о каком таком мире, где сдерживаются обещания / И где человек мог бы заплакать, потому что другой заплакал.)

Бродский вспоминает этот пассаж Одена в стихотворении «Сидя в тени» (У), в экспозиции которого говорится:

Я смотрю на детей,
бегающих в саду.
Свирепость их резвых игр,
их безутешный плач
смутили б грядущий мир,
если бы он был зряч.

И одиннадцатью строфами ниже:

Жилистый сорванец,
уличный херувим,
впившийся в леденец,
из рогатки в саду,
целясь по воробью,
не думает – «попаду»,
но убежден – «убью».

Маленький оборванец у Одена совершает бессмысленно злой поступок, потому что родился и вырос в мире нищеты и порожденной ею жестокости. У Бродского то же делает не оборванец, а сорванец с леденцом за щекой, резвящийся в парке. Бродский говорил, что процитированную выше строфу Одена «следует высечь на вратах всех существующих государств и вообще на вратах всего нашего мира»³¹², но, как мы видим, переосмыслил ее: зло в ребенке обусловлено не социально-экономическими факторами, а антропологическими.

Не менее, чем приведенный отрывок из «Щита Ахилла», известна максима Одена из «1 сентября 1939 года»: «We must love one another or die» («Мы должны любить друг друга или умереть»)³¹³. Бродский посвятил этому стихотворению Одена пространное эссе и его

312 СИБ-2. Т. 5. С. 264.

313 Именно из-за этой строки Оден исключил стихотворение «1 сентября 1939 года» из своего позднейшего тома избранных стихов: мы обречены умереть независимо от того, следуем ли мы заповеди вселенской любви или нет (промежуточный и тоже отвергнутый вариант: «We must love each other and die»). Рассуждение Бродского по этому поводу: «Истинное значение строчки в то время было, конечно: „Мы должны любить друг

ритмическую модель, композицию, манеру автоописания не раз имитировал, в том числе и в стихотворении «Сидя в тени». Христианское требование вселенской любви как единственной альтернативы самоистреблению человечества Бродский безусловно принимал. Порой он утверждал его в грубовато-сниженных выражениях: «...не мы их на свет рожали, / не нам предавать их смерти» («Речь о пролитом молоке», КПЭ), порой находил на редкость свежие слова для выражения вечной истины. В стихотворении «Неважно, что было вокруг, и неважно...» (ПСН) он говорит о Вифлеемской звезде, что она отличалась от других звезд «способностью дальнего смешивать с ближним».

Расхождения с любимым поэтом были не относительно христианской этической догмы, а относительно причин ксенофобии, войны, геноцида. Оден до конца тридцатых годов придерживался более или менее марксистских взглядов на причину войн и революций. «Голод не оставляет выбора», – говорит он в «1 сентября 1939 года». Бродский полагал, что проблема экономического неравенства, голода и нищеты в конечном счете разрешима:

Важно многим создать удобства.
(Это можно найти у Гоббса.)

(«Речь о пролитом молоке», КПЭ)

По Гоббсу, значительная часть человечества создала различные варианты государства, и эти левиафаны как-никак покончили с войной всех против всех и создали системы социального обеспечения. Однако жизнь под охраной полиции и с наполненным желудком не становится счастливее. Неизбывность трагедии – в биологической способности человечества как вида к непрерывному размножению. Массовые страдания сытого массового человека (почти пророчески пишет Бродский в январе 1967 года) могут принять новую форму, например наркомании:

Кайф, состояние эйфории,
диктовать нам будет свои законы.

(«Речь о пролитом молоке», КПЭ)

У Бродского было мрачное мальтузианское предчувствие демографического апокалипсиса:

Дело столь многих рук
гибнет не от меча,
но от дешевых брюк,
скинутых сгоряча.

Будущее черно,
но от людей, а не

друга или убивать“. Или же: „Скоро мы будем убивать друг друга“. В конце концов, единственное, что у него было – голос, и голос этот не был услышан, или к нему не прислушались...» (СИБ-2. Т. 5. С. 250–251). Интуиция Бродского подтверждается поздним стихотворением Одена «Утренние трели» («Aubade»), которое, видимо, Бродскому в момент писания статьи было незнакомо (или упущено из виду). В «Утренних трелях» Оден уточняет мысль очень близко к интерпретации, предложенной Бродским: в человеческой речи, акте коммуникации, осуществляется жизнь. Слушая голоса прошлого, обращая свой голос в будущее, человек участвует в непрерывности жизни. Эти мысли Одена были откликом не столько на прославленную оду Горация, сколько на метафизику речи в трудах Розенштока-Хюсси, эмигрировавшего в США австрийско-еврейского философа. Взгляды Розенштока-Хюсси на экзистенциальное значение диалога были близки взглядам его друга Мартина Бубера и М. М. Бахтина. Оден внимательно читал труд Розенштока-Хюсси, в то время профессора Дартмутского колледжа, «Речь и реальность», где тот формулирует свою основную мысль так: «Audi, ne moriamur» («Слушай, да не умрешь») (см.: Fuller J. W. H. Auden: A Commentary. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998. P. 545).

от того, что оно
черным кажется мне.

(«Сидя в тени», У)

Людей слишком много и становится все больше. Толпа, армия, хор всегда враждебны частному человеку. Через двадцать лет после «Речи о пролитом молоке» Бродский начнет свою нобелевскую лекцию словами: «Для человека частного и частность эту всю жизнь какой-либо общественной роли предпочитавшего, для человека, зашедшего в предпочтении этом довольно далеко – и, в частности, от родины, ибо лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии, – оказаться внезапно на этой трибуне – большая неловкость и испытание»³¹⁴. В подлинной демократии общество основано на свободном договоре частных людей; в охлократии, которая неотделима от тирании, частный человек преследуется как отступник и преступник (см. «Развивая Платона», У) или, в лучшем случае, маргинализуется. Так было и так будет всегда:

В грядущем население,
бесспорно, увеличится. Пеон
как прежде будет взмахивать мотыгой
под жарким солнцем. Человек в очках
листать в кофейне будет с грустью Маркса.

(«Заметка для энциклопедии», ЧР)

Мечта частного человека (политической ипостаси лирического героя Бродского) – поселиться у моря с подругой, «отгородившись высоченной дамбой / от континента» («Пророчество», ОВП), в одиночестве «жить в глухой провинции у моря» («Письма римскому другу», ЧР), но на самом деле он обречен жить в толпе и при виде тирана бормотать, «сжав зубы от ненависти: „баран“» («Развивая Платона», У). Мечты о частной жизни и мотив изгойства у Бродского нередко даны в условных обстоятельствах вымышленных стран, городов, эпох – не столько фантастических, сколько идеальных в том смысле, что они описывают сущности, платонические «идеи» вариантов действительности. Сущность СССР – империя. Сущность советского метрополиса – град Платона. Идея частной жизни в коллективистском государстве – отгораживание от мира «высоченной дамбой».

Ненавистную ему форму правления Бродский постоянно называет тиранией. В 1979 году он изложил свои мысли по этому поводу в эссе, которое так и называется: «О тирании». Тирания, по Бродскому, – это комбинация всех трех дурных форм государственного устройства, описанных Аристотелем: тирания, олигархия и охлократия (власть толпы). В двадцатом веке они стали неразделимы. Олигархия принимает облик единственной «партии». Партия устроена таким образом, что она выдвигает на верхушку государственной пирамиды тирана. Это возможно, и даже неизбежно, благодаря «стадному натиску масс»³¹⁵. Людей слишком много. «Идея экзистенциальной исключительности человека заменяется идеей анонимности»³¹⁶. Коллективная политическая воля масс приведена к самому низкому общему знаменателю: требованию устойчивости, стабильности. Жесткое пирамидальное устройство власти одной партии с тираном на вершине пирамиды воспринимается коллективным сознанием как самое надежное и удобное, ибо тирания «организует для вас вашу жизнь». Делает это она с наивозможной тщательностью, уж безусловно лучше, чем демократия. К тому же она делает это для вашей же пользы, ибо любое проявление индивидуализма в толпе

314 СИБ-2. Т. 1. С. 5.

315 Там же. Т. 5. С. 86.

316 СИБ-2. Т. 5. С. 86.

может быть опасно: прежде всего для того, кто его проявляет, но и о том, кто стоит рядом, тоже надо подумать. Вот для чего существует руководимое партией государство, с его службами безопасности, психиатрическими лечебницами, полицией и преданностью граждан. И все же даже всех этих учреждений недостаточно: в идеале каждый человек должен стать сам себе бюрократом»³¹⁷.

Несмотря на различия характеров, все трое советских правителей, под властью которых Бродскому довелось жить на родине, пришли к власти и правили страной именно так, как Бродский это описывает в своем эссе. Сталин, тезка поэта, был, конечно, из трех самым «монструозным», если воспользоваться определением Бродского. В узилище поэт был брошен при Хрущеве, который был осведомлен о его деле и сказал, «что суд велся безобразно, но пусть Бродский будет счастлив, что осудили за тунеядство, а не за политику, потому что за стихи ему причиталось бы десять лет...»³¹⁸. В первый год правления Брежнева Бродского вернули из ссылки и семь лет спустя с ним обошлись по советским меркам относительно гуманно – принудили эмигрировать на Запад. Однако портрет тирана в эссе «О тирании» многими деталями указывает на Брежнева. Именно личная заурядность и чисто бюрократический путь наверх делали Брежнева в глазах Бродского фигурой типической, поскольку в нем нет совершенно ничего необычного – ни сумасшедшей одержимости Ленина, ни макиавеллизма и жестокости Сталина, ни даже самодурства Хрущева. В стихах Бродского тиран всегда появляется в ореоле банальности. В «*Anno Domini*» (*ОВП*) он мучится больной печенью, в «*Одному тирану*» (*ЧР*) — кушает вкусный роголик, в «*Post aetatem postram*» (*ЧР*) — тужится в уборной, в «*Резиденции*» (*У*)³¹⁹ — задремывает в сиреновой телогрейке над колонками цифр. Это недалекий, немолодой, нездоровый человек. Самое человеческое из его качеств то, что он смертен. Обращаясь к Брежневу в письме, датированном днем отъезда из России, 4 июня 1972 года, Бродский писал: «От зла, от гнева, от ненависти – пусть именуемых праведными – никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять»³²⁰.

Брежнев, разумеется, не ответил на письмо вышвырнутого из страны поэта. Можно быть уверенным, что он его никогда и не видел – вряд ли референты генсека стали бы занимать его внимание таким незначительным и непочтительным текстом. А и увидел бы, то вряд ли бы понял там что-либо, помимо неприятных слов «умрете Вы». Лирика и философия никогда не касались сознания заматерелого партийного бюрократа. Диалог советского вождя с населением всегда был сугубо ритуальным: вождь зачитывал перед микрофоном приготовленные для него тексты (в случае Брежнева – плохо ворочающимся языком), аудитория единообразно выражала одобрение – аплодисментами или поднятием рук при голосовании. «Руки тянутся хвойным лесом / перед мелким, но хищным бесом», – писал Бродский в «*Лагуне*» (*ЧР*)³²¹.

317 Там же. С. 90–91. Бродский не дождал четырех лет до того момента, когда описанный им механизм – массы желают стабильности, возникает виртуальная единая партия, выдвигается единоличный лидер («серый, неприметный вид ее [партии] вождя привлекает массы как собственное отражение». С. 87) – был снова задействован на его родине.

318 Чуковская 1997. С. 480.

319 «Резиденцию» (1983) Бродский писал, имея в виду тогдашнего правителя СССР Ю.В.Андропова (см. Рейн 1997. С. 194–195).

320 Гордин 2000. С. 219.

321 Полемическая реминисценция из стихотворения Одена «Испания» («Spain», 1937; в этом стихотворении с наибольшей полнотой выразились наивные коммунистические симпатии молодого Одена). «Когда Оден пишет об „усердных выборах председателей неожиданным лесом рук“ [The eager election of chairmen / By the sudden

Эпитет «мелкий» – ключ к проблематике зла у Бродского. Выражение «банальность зла» впервые появилось в классической книге Ханны Арендт «Эйхман в Иерусалиме» (1961). Смысл его, конечно, не в том, что зло банально, а в том, что банальны носители, инициаторы зла. Корни антиромантической философии зла уходят в русскую литературу девятнадцатого века. Банальность – центральная характеристика Наполеона у Толстого и карамазовского черта у Достоевского. В двадцатом веке неоднократно подтверждалось, что ответственность за грандиозные злодеяния – сталинская коллективизация и террор тридцатых годов, уничтожение евреев нацистами, маоистская «культурная революция», террор в Камбодже, геноцид в Руанде и т. п. – несут не демонические сверхчеловеки, а люди заурядные. Средний человек, иногда с психопатическими отклонениями, а иногда и без таковых, способен сотворить зло в размерах, не уместяющихся в сознании. Бродский испытал это и в ограниченном масштабе личного опыта. Его гонители и мучители – лернеры, толстиковы, Савельевы, воеводины – все были существа пошлые. Их поведение было мотивировано примитивными желаниями и страхами, речь была корявой, штампованной, поскольку способность мыслить была омертвлена идеологической обработкой. В конечном счете, эти люди так же, как и те, кто находился наверху государственной пирамиды, творили зло в силу интеллектуальной и моральной опустошенности. Банальность их слов и поступков выявляет то, что в иудео-христианской этике издавна рассматривалось как несубстанциальность зла: зло заполняет пустоты, злу для осуществления нужны полые люди.

Прямые рассуждения о природе зла занимают центральное место в самом первом из написанных и опубликованных на Западе эссе Бродского³²² и в его речи перед выпускниками небольшого элитного колледжа Уильямс в 1984 году. Напутствуя молодых людей, Бродский, в частности, сказал, что «надежнейшая защита от зла – это предельный индивидуализм, самостоятельность мышления, оригинальность, даже, если угодно, – эксцентричность»³²³. В менее провокативном стиле то же было бы названо «критическим мышлением» или «духовной работой». Есть, однако, в эссеистике и в стихах Бродского мотив, постоянно связанный с темой зла, который, казалось бы, противоречит утверждению индивидуализма и даже эксцентричности. Поэт, который в качестве главного личного достижения провозглашал: «Моя песня была лишена мотива, / но зато ее хором не спеть» («Я всегда твердил, что судьба игра...», *КПЭ*), — размышляя о виновниках исторических несчастий, выпавших на долю его страны, настойчиво употребляет местоимение «мы».